

Д. Г. Гордина (Мещерская)

## ШЕСТИДЕСЯТНИЦА ИЗ ПЯТИДЕСЯТЫХ

(Штрихи Времени)



Это был 1951 год. Девочка из воронежской провинции (это — я), се ребряная медалистка проходит со беседование на предмет зачисления на филологический факультет Ленинградского университета. В комиссии шесть человек — педагогов ЛГУ, возглавляет ее некто Татубаев (фамилия эта запомнилась на всю жизнь!). Пройдясь галопом по моим литературным программным знаниям, товарищ Татубаев решил выяснить мои личные пристрастия, задав вопрос, какое у меня любимое литературное произведение. По-видимому, ответ, что это — «Молодая гвардия» Александра Фадеева (а я действительно чтила тогда эту книгу так же, как святой для любого комсомольца роман Николая Островского «Как закалялась сталь» и потрясенно смотрела только что вышедший на экраны фильм, где его документальную героиню — Улю Громову — играла тогда молодая актриса Нонна Мордюкова), вполне уложился в повсеместно требуемый советский трафарет, что вызвало одобрительную реакцию членов комиссии. А вот дальше случилось совсем непредвиденное: второй моей любимой книгой оказался «Гений» Теодора Драйзера. Сегодня этот ответ семнадцатилетней девушки свидетельствовал бы только о ее стремлении познать движитель человеческой энергии и успеха, что вполне современно, но в 1951 году, после всемирно прогремевшего «ленинградского дела» — погрома интеллигенции под знаменем разоблачения космополитизма — «злостного преклонения перед вражеским Западом», такой ответ вызвал какой-то странный интерес комиссии к моей персоне, а товарищ Татубаев незамедлительно осведомился у меня, а кто же это такой — писатель Драйзер?

— Теодор Драйзер — представитель прогрессивной американской литературы, — ответила я.

Тут же последовал провокационный вопрос кого-то из членов комиссии — как это может быть в стране загнивающего империализма прогрессивная литература?

— Может, — ответила неосторожная провинциалочка, — может же быть Пушкин среди Булгариных!

— Вот как! Тогда, быть может, Вы объясните нам, что такое космополитизм?

Огнем меня обожгло поздно пришедшее прозрение: так вот чем не угодила я им своим Драйзером.

— Космополиты, — ответила я, — это «беспаспортные бродяги в человечестве», как называл их Белинский.

Члены комиссии повернулись к Татубаеву.

— Это все? — неприязненно спросил он. — Больше Вы нам ничего об этом не скажете?

Я молчала.

— Можете быть свободны, — распорядился он.

Ныне, более чем через полвека я с удивлением обнаружила ту же фамилию в одной из сравнительно недавних книг Михаила Веллерса «Мое дело», в которой он рассказывает в том числе и о своих студенческих годах в ЛГУ. С благодарностью вспоминает он о заступничестве Татубаева за него в какой-то разборке с молодыми прогрессистами. Было это, правда, уже в 60-х.

А тогда, в пятьдесят первом, имени своего Дора Гордина среди зачисленных на факультет медалистов не нашла, зато ее родственник — муж двоюродной сестры, который вел философию на биофаке ЛГУ, — разрыл в приемных документах резюме комиссии по результатам собеседования о том, что Гордина Д. Г. «не уяснила себе понятие космополитизма».

1951 год... «Ленинградское дело»... Семейный совет решил, что я немедленно должна уехать из Ленинграда и, оставив свои филологические затеи, поступить в какой-либо провинциальный вуз на технический факультет.

Я выбрала химфак ВГУ, была даже комиссаром курса и очень гордилась тем, что мои товарищи оказали мне такое доверие. А в остальном меня, кроме аналитической химии (я была в группе будущего знаменитого про-

фессора и ректора ВГУ В. П. Мелешко, основателя школы применения ионитовых смол в очистке воды для рождающейся тогда у нас, в Воронеже, электронной промышленности), ничего на этом факультете не интересовало. Да еще единственная тогда там как-то соотносящаяся с историей и философией дисциплина — основы марксизма-ленинизма. Педагог, ведущий у нас развенчанную ныне «науку» — Андрей Григорьевич Припачкин, приглядевшись к моей гуманитарной натуре, привел «странную химичку» в кружок по философии к фронтовику профессору Беру Мoiseевичу Бернадинеру, у которого я смогла заняться тем, чем я по своей ленинградской закваске не могла не продолжить заниматься в Воронеже — искусством.

А заинтересовалась я в областном музее изобразительных искусств одной редкостью — древними греческими краснофигурными вазами, которые и перетянули меня с химфака на историческое отделение историко-филологического факультета. Знала бы я тогда о том, что именно этим вазам посвятили свои поэтические строки сосланный в Воронеж Осип Мандельштам!

Но и без этого знания мой доклад на научной конференции вызвал полемику с моим будущим коллегой на воронежском радио — тогдашним аспирантом Валентином Юдиным — по поводу материала искусства как материала философии. Из этого спора студентка-младшекурсница Гордина под аплодисменты сидящего где-то сбоку в зале пожилого художавого, остробородого профессора вышла победительницей.

— Кто это? — поинтересовалась я после своего нечаянного триумфа.

— А это заведующий кафедрой всеобщей истории профессор Илья Николаевич Бороздин, — ответил мне Бернадинер, — это один из самых серьезнейших наших ученых, виднейший отечественный историограф.

Официальный же переход к долгожданной истории и филологии свершился у меня в 1953 году, когда умер «отец народов», на конец своей жизни все-таки осуществивший циничное и позорное «дело врачей». С плачевной после его завершения депортацией всего советского еврейства в Сибирь и на Дальний Восток. Сталин, слава богу, умер 5 марта, и сразу же 15 марта я подала заявление с просьбой перевода на истфилфак.

Мои следующие доклады на наших университетских конференциях уже были по истории отечественного и зарубежного искусства, что, видимо, и позволило Илье Николаевичу пригласить меня в свои дипломницы. Говори-

ли, что Илья Николаевич брал к себе дипломников редко, а в основном занимался с аспирантами. Передо мной таким аспирантом был Владимир Гусев, будущий ректор ВГУ, которого я довольно часто встречала в доме у Бороздиных. Тогда же в своем доме Илья Николаевич познакомил меня (как потом я поняла не без определенного намерения) с молодым ученым-антропологом Александром Немировским, с которым у нас потом завязалась интересная теплая дружба.

Илья Николаевич, казалось бы, особо не интересуясь ее подробностями, однажды задал мне, вроде бы невзначай, вопрос, нравится ли мне Александр?

Я растерялась от неожиданности и не нашла ничего лучше как ответить, что Немировский очень интересный образованный человек, знает, кроме древних, свободно три языка и даже пишет стихи на английском.

И встретилась с насмешливым взглядом Бороздина из глубины очков:

— И только?! Как Вам, Дора, не стыдно — ведь, Вы, кажется, Мещерская, должны же знать, что в хорошем доме раньше прислуга говорила на трех языках!

Ныне стало модно играть в родовитость и красоваться перед телевизионными камерами вчерашним идеологом с сегодняшними церковными свечками. Я как-то мало верю в эту метаморфозу. Не зря поэт Борис Скотневский как-то написал такие стихи:

Они пред самым аналоем  
Стоят почти партийным строем  
И свечи держат, как стаканы,  
И лица их непокаянны.

Другой за сотни верст от храма  
Живет в селе Большая яма,  
Подъемлит очи к небесам  
И Бог

К у нем  
Нисходит  
Сам.

Больше верю в богоискательство бывших шестидесятников. Это как возвращение течений в мировом океане — помните богоискательство русской интеллигенции в начале века?.. В пятидесятые — шестидесятые годы при всех их демократических иллюзиях богоискательством было по-прежнему заниматься диссидентски неполезно. Тем не менее, Илья Николаевич позволил мне взять тему дипломной работы, связанную с философскими основами живописи Возрождения. Она была посвящена творчеству, а также религиозно-этическим, философским взглядам Леонардо да Винчи, отразившимся в русской критике и художественной литературе начала XX в.

Критика и искусствознание начала века... Мережковский, Волынский, Муратов — они тогда, как и Флоренский, и Булгаков, и Федотов, и, конечно же, Бердяев, «сохранились» в закрытых фондах. Что-то я могла вычитать в домашней библиотеке у Бородзиных — я начала заниматься своей дипломной с Ильей Николаевичем еще на четвертом курсе. А на пятом — Бородин исхлопотал мне отношение Университета на мою работу в специальной публичной библиотеке имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде и в фонде Эрмитажа. Я благодарна своему профессору за те знания, которые пришли ко мне еще в пятидесятые и которые помогли мне естественно войти в современный слой философской и религиозной культуры. Культуры, необходимой для моей сегодняшней журналистской практики.

В те незабываемые дни моего общения с Ильей Николаевичем увидела я в его кабинете акварель Максимилиана Волошина с туманно вытянутым мысом Меганомом, ныне находящуюся у известной воронежской художницы Ксении Успенской, автора отличного портрета профессора Бородина. Как известно, Илья Николаевич был знаком с Максимилианом Александровичем, который встречался с ним на раскопах в Старом Крыму.

Конечно же, будучи в Крыму, я не могла не посетить Дом Волошина. В первый раз мне посчастливилось попасть туда еще при жизни Марии Степановны — жены поэта Волошина. И принятая я была в этом доме благодаря имени Ильи Николаевича. Я написала записку Марии Степановне с просьбой принять меня и подписалась «ученица Ильи Николаевича Бородина».

Мария Степановна, сидя в кресле за письменным столом в кабинете Максимилиана Александровича, вспоминала молодого Илью Бородина.

«Он даже немножко ухаживал за мной, — сообщила мне доверительно престарелая лада, покачивая из-под свободного длинного платья изумительно красивой ножкой в молодом подъеме. — Вы, вот, в Вашей комсомольской косыночке (у меня на голове вместо косынки был надет от жары пионерский галстук) не думаете о Боге, а счастье творческого человека заключается в том, насколько он сможет полно выразить то, что заложено в нем Господом».

Я в молодости часто отдыхала в Крыму в Коктебеле и во второе свое пришествие в Дом Волошина была оставлена там переночевать. Под вечер была свидетелем того, как в библиотеке Волошина работала съемочная группа



Ксения Успенская. Портрет И. Н. Бородина

«Укркинохроники». Заходяшее солнце освещало книжные полки с рядами редких книг. Их подсвечивали софитами, и вдруг свет погас. Встревоженный молодой темноволосый режиссер в обыденной рубашке с модной тогда расцветкой «огурчиками» схватил чай-то велосипед, заколол брюки снятой с бельевой веревки прищепкой и помчался куда-то выяснить, что случилось со светом, который так и не дали. И полки снимал Андрей Тарковский — а это был он — при закатных неярких лучах. Такими они и вошли потом в один из начальных эпизодов его фильма «Сталкер».

Мария Степановна очень радушно приняла у себя и писателя Николая Коноплина, с которым мы в конце семидесятых отдыхали в том же Коктебеле, много рассказывала ему о своем Максиньке. И как-то сжалась и прервала свой рассказ, когда в комнату вошел «смотритель» дома некто В. Купченко, впоследствии достаточно широко использовавший в печати итоги своего «смотрения». Коноплин настроился по отношению к нему подозрительно, и эти его подозрения оправдались, когда мы после смерти Марии Степановны попали в очищенный от книг и картин дом-музей Волошина. (Нынче прошло по Радио России сообщение о том, что часть Дома Волошина рухнула от небрежения его украинских владельцев — Феодосийской картинной галереи.)

Купченко тогда интересовался у меня фотографией, на которой были запечатлены

Волошин, Богаевский и Илья Николаевич (в период крымских раскопов). Об этой фотографии В. Купченко позднее по данному ему мною адресу спрашивался и у Полины Андреевны Бороздиной. Все это было уже после смерти Ильи Николаевича.

Мне, к сожалению, не пришлось заниматься у Ильи Николаевича в аспирантуре, хотя это предполагалось. Я увлеклась публикациями о театре, художниках в областной газете «Коммуна», а затем началом своей работы в художественной редакции Воронежского радио, на что прозорливый Илья Николаевич сказал: «Ну, что ж? Идите, сбейте с себя оскумину от этой так называемой журналистики. Подучите языки — Вам для диссертации надо дополнить свою работу зарубежной историографией. Придете ко мне через два года».

Прошло два года. Не стало в живых Ильи Николаевича (он умер в октябре 1959 года), а та оскумина от «так называемой журналистики», особенно провинциальной, цену которой я за эти пятьдесят лет вполне осознала, так и осталась...

Но видимо, осталось во мне и то, что имеют генетикой педагогов: генетикой ответственности перед происходящим, интересом и обязанностью вникать в глубину проблемы исследуемого явления, факта. Что непреложно и для настоящей журналистики. О чем ненавязчиво, чаще поощрительно, но достаточно твердо в своих замечаниях по поводу моих первых театральных рецензий в газете «Коммуна», вроде бы, между прочим, вроде бы, в общем разговоре вдруг мог обмолвиться Илья Николаевич. Тогда я, к сожалению, не знала, что имя автора театральных статей в московской прессе Николин — это псевдоним Ильи Николаевича.

Пытался мой профессор приучить меня и к систематичности в работе — качеству абсолютно необходимому для научного труда. Об этом он даже сказал на моей защите диплома. Выслушав одобрительные и даже лестные отзывы о своей дипломнице, Илья Николаевич, к удивлению членов комиссии, предложил оценить ее дипломный труд не на «отлично», как говорилось, а только на «хорошо», обосновав это тем, что метод «экспрессионизма», которым я работала над своей темой, хорош, конечно, для художественной деятельности, но если я думаю серьезно заниматься медиевистикой, то труд ежедневный и ежечасный, кропотливый для этого раздела

исторической науки, как ни для какого другого, абсолютно безусловен.

Сначала эта оценка страшно обидела юное самолюбие, но со временем я поняла намерение Ильи Николаевича заставить меня серьезно оценить возможности собственного характера, определить свои жизненные цели — стать, наконец, взрослым человеком. Этому взрослению, конечно, способствовало и само время 60-х, желание (может быть, романтическое, как выяснилось нынче) моего поколения на новых, справедливых и демократических основах переустроить задавленную гулаговскими лагерями жизнь нашей Родины. Тогда, в 56—57—58 годах у нас в университете уже были те, с кого мы могли брать пример социальной и политической честности. Одним из них как раз и был мой профессор Бороздин — дворянин, бывший узник тех самых казахстанских и дальневосточных лагерей. В те времена, еще все же опасливо нечетких исторических оценок происходившего и происходящего, вышел на кафедру на занятиях по историографии Илья Николаевич и объявил: «Ну-с, молодые мои коллеги, сегодня мы начинаем с вами раздел, который я именую “шапкозакидательством” — мы начинаем изучение периода сталинской историографии». В отличие от профессора Бороздина, двое бывших гулаговских лагерников, вернувшихся на наш курс, — филолог Борис Окунев и историк Семен Черепинский, опасаясь «повторника» — вторичного ареста, продолжали не упоминать о пережитом, выполняя свое обязательство «не разглашать» гулаговский режим. Заговорили они с нами уже только после «Одного дня Ивана Денисовича» Солженицина.

Сегодня, после исследования Александром Солженицыным документов 4-й Государственной думы (как удивительно и разительно схожи оказываются они — прежняя и сегодняшние — в своих заболтанных проектах!), после солженицынского последнего труда «200 лет вместе» с массой названных и пропущенных (не намеренно ли?) имен инородцев и самородцев, сегодня, во времена кавказских конфликтов, с трагичным и страшным смертоубийственным с обеих сторон «принуждением к миру» в августе две тысячи восьмого, как нужен был бы Илья Николаевич, с его трезвой, саркастической памятью подлинного историка.

Как мне и нам всем его сегодня не хватает!

